

Часть первая

I

Дневной свет падал в просторную мастерскую из открытого в потолке окна — большой квадрат яркого голубого сияния, просвет в бесконечную лазурную даль, где мелькали быстро пролетающие птицы.

Но, едва проникнув в высокую, строгую, задрапированную коврами комнату, радостное сияние дня тотчас же ослабевало, смягчалось, угасало в складках тканей, потухало в портьерах, меркло в темных углах, где лишь золоченые рамы загорались яркими бликами. Казалось, сон и покой были замкнуты здесь, покой, присущий жилищу художника, где творчески трудился человек. В этих стенах, где мысль живет, где мысль волнуется, истощаясь в могучих усилиях, лишь только она успокаивается, все начинает казаться усталым, подавленным. После ярких вспышек жизни все как бы замирает, отдыхает — и мебель, и драпировки, и неоконченные портреты знаменитостей, — словно и жилище истомлено усталостью хозяина, словно оно трудилось с ним вместе, участвуя в ежедневно возобновляющейся борьбе.

Еле уловимый дурманящий запах красок, скипидара и табака, пропитавший ковры и кресла, носился в воздухе. Глубокая тишина нарушалась лишь резкими, отрывистыми криками ласточек, мелькавших над открытым окном, и беспрерывным невнятным гулом Парижа, глухо отдававшимся над крышами. Все было неподвижно, только время от времени уносилось к потолку облачко голубого дыма: растянувшись на диване, Оливье Бертен медленно курил папиросу.

Задумчиво глядя в далекое небо, он искал сюжет для новой картины.

Что напишет? Он еще не знал. Бертен не был решительным, уверенным в себе художником; это была натура беспокойная, и его неустойчивое вдохновение беспрестанно колебалось между разнообразными проявлениями его художественных исканий. Он был богат, знаменит, добился всяческих почестей, но до сих пор, уже на склоне жизни, не знал, в сущности, к какому идеалу шел. Он получил римскую премию, отстаивал традиции, воссоздавал, подобно многим своим предшественникам, великие исторические события, но потом, модернизируя свои искания, начал писать современников, придерживаясь классических приемов. Умница, энтузиаст, упорный труженик, хотя и подвластный переменчивой мечте, влюбленный в свое искусство и владея им в совершенстве, одаренный тонкой интуицией, он достиг замечательного мастерства в исполнении и большой гибкости талан-

та, развившейся отчасти благодаря колебаниям и попыткам работать во всех жанрах. Быть может, внезапное увлечение светского общества изящными, изысканными и корректными произведениями художника также повлияло на него и помешало ему быть таким, каким он стал бы при других условиях. После шумного успеха в самом начале своей карьеры желание нравиться безотчетно томило его, незаметно изменяло его путь, смягчало его убеждения. Впрочем, это желание проявлялось у него во всевозможных формах и немало способствовало его славе.

Приветливость его манер, все его житейские привычки, старательный уход за собою, давняя репутация сильного и ловкого фехтовальщика и наездника тоже кое в чем содействовали его возрастающей известности. После «Клеопатры», первого полотна, прославившего его в свое время, Париж внезапно влюбился в него, сделал своим избранником, окружил почестями, и он вдруг сразу стал одним из тех блестящих светских художников, которых встречаешь на прогулках в Булонском лесу, которых оспаривают друг у друга гостиные, которых еще молодыми принимают в институт. И он вступил туда как победитель, признанный всем городом.

Так, балуя и лаская, вела его Фортуна до самого приближения старости.

Сейчас, под обаянием чудесного ликующего дня, он пытался найти поэтический сюжет. Слегка

отяжелев от завтрака и папиросы, он мечтал, глядя в пространство, и перед ним, на фоне лазурного неба, возникали фигуры грациозных женщин в аллеях парка или на тротуаре улицы, влюбленные пары на берегу реки, изящные видения, пленявшие его мысль. Один за другим вырисовывались на небе изменчивые образы, расплываясь и ускользая, как в красочной галлюцинации, а ласточки, подобно пущенным стрелам, в непрерывном полете пересекая пространство, казалось, хотели стереть эти образы, перечеркнуть их взмахами крыльев.

Бертен ни на чем не мог остановиться! Мелькавшие перед ним лица были похожи на те, что давно уже были им написаны, все представлявшиеся ему женщины были дочерьми или сестрами тех, которых когда-то уже создала его прихоть художника; страх, пока еще смутный, но преследовавший его уже целый год, страх перед тем, что он выдохся, что круг его сюжетов замкнулся, что его вдохновение иссякло, стал ощутимее при этом обзоре уже созданного им, при этом бессилии придумать что-то новое, открыть что-то еще неизвестное.

Он лениво поднялся, чтобы поискать в папках, среди незаконченных набросков, что-нибудь, что подало бы ему какую-то идею.

Дымя папиросой, он принялся перелистывать эскизы, наброски, рисунки, хранившиеся под ключом в большом старинном шкафу, но ему скоро наскучили эти тщетные поиски, он устал от них; бросив папиросу, засвистал какой-то избитый

уличный мотив и, нагнувшись, вытащил из-под стула валявшуюся там тяжелую гимнастическую гирию.

Откинув драпировку с трюмо, служившего ему для наблюдения за правильностью позы, для проверки перспективы и верности изображения, он стал перед зеркалом и начал упражняться.

Когда-то он славился в мастерских своей силой, как потом в светском обществе — своею красотой. Теперь, с возрастом, он отяжелел. Высокий, широкоплечий, с могучей грудью, он, как старый цирковой борец, обзавелся брюшком, несмотря на то что продолжал ежедневно фехтовать и много ездил верхом. Голова, как и раньше, была замечательно красива, хотя время оставило на ней свой след. Серые волосы, густые и короткие, подчеркивали живость его черных глаз под густыми седеющими бровями. Длинные темные усы, настоящие усы старого солдата, почти не поседели и придавали лицу редкое выражение энергии и гордости.

Выпрямившись перед зеркалом, сдвинув пятки, он проделывал все предписанные упражнения чугунными шарами, держа их на вытянутой мускулистой руке, и следил довольным взглядом за ее размеренными мощными усилиями.

Но вдруг он увидел в зеркале, где отражалась вся его мастерская, как шевельнулась портьера, а затем показалось женское лицо. За его спиной раздался голос:

— Дома?

Обернувшись, он ответил:

— Да.

И, бросив гирю на ковер, побежал к двери с несколько деланой легкостью.

Вошла женщина в светлом платье. Они пожали друг другу руки.

— Занимались гимнастикой? — спросила она.

— Да, я красовался тут, как павлин, и вы застигли меня врасплох.

Она засмеялась.

— В швейцарской никого не было; я знаю, что вы в это время всегда одни, и вошла без доклада.

Он смотрел на нее.

— Черт возьми! Как вы хороши! Что за шик!

— Да, на мне новое платье. Как вы находите? Красиво?

— Очаровательно, какая гармония! Надо сказать, что теперь понимают толк в оттенках.

Он ходил вокруг нее, ощупывал ткань, поправлял кончиками пальцев расположение складок, как знаток женских туалетов, который не уступит дамскому портному. Недаром в течение всей жизни он все свое художественное воображение и атлетические мускулы употреблял на то, чтобы тонкою бородкой кисти передавать изменчивые и прихотливые моды, раскрывая женственную грацию, то скованную бархатной или шелковой кольчугой, то скрытую под снегом кружев.

Наконец он объявил:

— Весьма удачно. Очень вам к лицу.

Она не мешала любоваться собою, радуясь, что хороша и нравится ему.

Уже не первой молодости, но еще красивая, не очень высокого роста, немного полная, она блистала той яркой свежестью, которая придает сорокалетнему телу сочную зрелость, и была похожа на одну из тех роз, которые распускаются все пышнее и пышнее, пока не расцветут слишком роскошно и не опадут за один час.

Светлая блондинка, она сохранила резвую юную грацию парижанок, которые никогда не стареют; обладая паразитической жизненной силой, каким-то неисчерпаемым запасом сопротивляемости, они в течение двадцати лет остаются все такими же, несокрушимыми и торжествующими, прежде всего заботясь о своем теле и оберегая здоровье.

Она приподняла вуаль и прошептала:

— Что же, меня не поцелуют?

— Я только что курил.

— Фу! — сказала она, но протянула губы.— Все равно!

И уста их встретились.

Он взял у нее зонтик и снял с нее весенний жакет быстрыми, уверенными движениями, привычными к этой интимной услуге. А когда она села на диван, заботливо спросил:

— Как поживает ваш муж?

— Прекрасно. Он, должно быть, произносит сейчас речь в палате.

— А! О чем это?

— Наверно, о свекле или репейном масле, как всегда.

Ее муж, граф де Гильруа, депутат от департамента Эры, избрал своей специальностью вопросы сельского хозяйства.

Заметив в углу незнакомый эскиз, она прошла через мастерскую и спросила:

— Что это?

— Начатая мною пастель, портрет княгини де Понтев.

— Знаете, — серьезно сказала она, — если вы опять приметесь писать портреты женщин, я закрою вашу мастерскую. Мне слишком хорошо известно, к чему ведет такая работа.

— О, — сказал он, — дважды портрета Ани не напишешь.

— Надеюсь.

Она рассматривала начатую пастель как женщина, понимающая толк в искусстве. Отошла немного, затем приблизилась, приложив щитком руку к глазам, отыскала место, откуда эскиз был всего лучше освещен, и, наконец, выразила свое удовлетворение:

— Очень хорошо. Пастель вам отлично удастся.

Польщенный, он прошептал:

— Вы думаете?

— Да, это тонкое искусство, которое требует большого вкуса. Это не для маляров.

Уже двенадцать лет она поощряла в нем склонность к изысканному искусству, боролась с его возвратами к простой действительности и, высоко

ценя светское изящество, мягко направляла его к идеалу несколько манерной и нарочитой красоты.

Она спросила:

— А какова собой эта княгиня?

Начав с замечаний о туалете, он перешел к оценке ума и сообщил множество подробностей, тех мелких подробностей, которые так смакует изощренное и ревнивое женское любопытство.

Она спросила вдруг:

— А не кокетничает она с вами?

Он рассмеялся и побожился, что нет.

Положив обе руки на плечи художника, она пристально посмотрела на него. В ее взгляде был такой жгучий вопрос, что зрачки дрожали в синеве ее глаз, испещренной еле заметными черными крапинками, похожими на чернильные брызги.

Она снова прошептала:

— Правда не кокетничает?

— Да нет же.

Она прибавила:

— Впрочем, меня это не беспокоит. Теперь уж вы никого, кроме меня, не полюбите. Никого... Конечно, слишком поздно, мой бедный друг.

Он почувствовал ту мимолетную щемящую боль, которая отдается в сердце пожилых людей, когда им напоминают об их возрасте, и тихо сказал:

— Ни сегодня, ни завтра — никогда в моей жизни не было и не будет никого, кроме вас, Ани.

Она взяла его под руку и, вернувшись к дивану, усадила рядом с собою.

- О чем вы думали?
- Искал сюжет для картины.
- В каком роде?
- Сам не знаю, вот и ищу.
- А что вы делали за последние дни?

Ему пришлось рассказать ей обо всех гостях, которые у него перебивали, об обедах и вечерах, разговорах и сплетнях. Впрочем, все эти суетные и обыденные мелочи светского быта одинаково занимали их обоих. Мелкое соперничество, гласные или подозреваемые связи, раз навсегда установившиеся суждения, тысячу раз высказанные и тысячу раз выслушанные по поводу все тех же лиц, тех же происшествий, тех же мнений, занимали их ум и втягивали их в течение мутной, бурливой реки, которую называют парижской жизнью. Зная всех, принятые повсюду, — он как художник, перед которым были раскрыты все двери, она как изящная женщина, жена депутата-консерватора, — они были искушены в этом спорте французской болтовни, тонкой, банальной, любезно-недоброжелательной, бесплодно-остроумной, вульгарно-изысканной болтовни, которая создает своеобразную и весьма завидную репутацию всякому, чей язык особенно изощрился в этом злоречивом пустословии.

— Когда вы придете к нам обедать? — спросила она вдруг.

— Когда хотите. Назначьте день.

— В пятницу. У меня соберутся герцогиня де Мортмэн, Корбели и Мюзадье; будем праздновать

возвращение моей дочурки — она приезжает сегодня вечером. Но никому не говорите. Это секрет.

— О, конечно, я приду. Мне будет очень приятно снова увидеть Аннету. Я ведь не видел ее уже три года.

— Правда! Уже три года.

Аннета, которая воспитывалась сначала в Париже, у родителей, стала последней и страстной привязанностью своей полуслепой бабушки г-жи Параден, жившей круглый год в имении зятя, усадьбе Ронсьер, в департаменте Эры. Старушка с течением времени все дольше удерживала при себе ребенка, и так как супруги Гильруа почти полжизни проводили в этом поместье, куда их постоянно призывали всевозможные дела, хозяйственные или избирательные, то в конце концов они стали лишь изредка привозить девочку в Париж, да и сама она предпочитала свободную и привольную деревенскую жизнь городской жизни взаперти.

За последние три года она ни разу не приезжала в город: графиня предпочитала держать ее вдали — чтобы не пробудить в ней какой-нибудь неожиданной склонности, — пока не настанет день, назначенный для ее вступления в свет. Г-жа де Гильруа приставила к ней двух гувернанток с отличными аттестатами и стала чаще ездить к своей матери и дочке. К тому же пребывание Анкеты в поместье было почти необходимо ради старухи-бабушки.

Прежде Оливье Бертен каждое лето проводил полтора-два месяца в Ронсьере, но последние три

года был вынужден лечить ревматизм на отдаленных курортах, и эти поездки до такой степени усиливали его любовь к Парижу, что, возвратившись, он не в силах был снова покинуть его.

Первоначально было решено, что девушка вернется лишь осенью, но у отца вдруг возник проект относительно ее замужества, и теперь он вызывал ее домой, чтобы немедленно познакомить с маркизом де Фарандалем, которого наметил ей в женихи. Однако этот план держался в большой тайне: графиня доверила ее одному Бертену.

— Итак, ваш муж решил осуществить свою идею? — спросил он.

— Да, я даже думаю, что это очень счастливая идея.

И они заговорили о другом.

Она опять вернулась к живописи, ей хотелось уговорить его написать Христа. Он не соглашался, доказывая, что картин на эту тему и так уже достаточно, но она упрямо стояла на своем и горячилась:

— О, если бы я умела рисовать, я бы изобразила вам мой замысел: это будет очень ново, очень смело. Его снимают с креста; человек, который освободил руки Христа, не может удержать верхнюю часть его тела. Оно валится и падает прямо на толпу, а та протягивает руки, чтобы принять и поддержать его. Вы вполне понимаете меня?

Да, он понимал, он даже находил это оригинальным, но в настоящее время им владело влечение к современности, и, глядя на свою подругу, которая

лежала на диване, свесив одну ногу, обутую в изящный башмачок и казавшуюся сквозь полупрозрачный чулок почти обнаженной, он воскликнул:

— Нет-нет, вот что надо писать, вот в чем жизнь: женская ножка, которая виднеется из-под платья. В это можно вложить все: правду, желание, поэзию. Ничего нет грациозней и красивей женской ножки, — а какая таинственность в том, что чуть повыше нога скрыта от взоров, ее лишь угадываешь под тканью платья!

Усевшись на полу по-турецки, он снял с нее башмачок, и ножка, выйдя из своего кожаного футляра, зашевелилась, как беспокойный зверек, неожиданно выпущенный на свободу.

Бертен повторял:

— Как это тонко, как изысканно, и вместе с тем — как чувственно! Чувственнее руки. Дайте вашу руку, Ани!

На ней были длинные, до локтя, перчатки. Чтобы снять одну из них, она взяла ее за верхний край и быстро сдернула, выворачивая наизнанку, как сдирают кожу со змеи. Показалась рука, белая, полная, круглая, обнажившаяся так быстро, что невольно возникала мысль о наготы всего тела, дерзкой и неприкрытой.

Г-жа де Гильруа протянула руку, свесив кисть. На белых пальцах сверкали кольца, и длинные розовые ногти казались коготками, выпущенными этой маленькой женской лапкой в любовном упоении.